

Иван Бунин

Цифры

I

Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге, – это было после одной из наших ссор с тобой, – и, опустив глаза, сделал такое грустное личико?

Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней. Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и, наконец, подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу! Если же дело происходит после ссоры и если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем! Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в избытке той беззаветной преданности, той страстной нежности, на которую способно только детство!

Но это была слишком крупная ссора.

Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне?

– Покойной ночи, дядечка, – тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой.

Конечно, ты хотел, после всех своих преступлений, показаться особенно деликатным, особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный известный ей признак благовоспитанности, когда-то учила тебя: «Шаркни ножкой!» И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. И я понял это – и поспешил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно:

– Покойной ночи.

Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобою, ты забыл и свою обиду, и свое самолюбие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне:

– Дядечка, прости меня... Я больше не буду... И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!

Можно ли было после этого медлить ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный дядя...

II

Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу.

Только что открылись для тебя еще не изведенные радости: иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши – непременно цветные! – и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.

– Но сегодня царский день, все заперто, – соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город.

Но ты замотал голову.

– Нет, нет, не царский! – закричал ты тонким голосом, поднимая брови. – Вовсе не царский, – я знаю.

– Да уверяю тебя, царский! – сказал я.

– А я знаю, что не царский! Ну, пожа-алуйста!

– Если ты будешь приставать, – сказал я строго и твердо то, что говорят в таких случаях все дяди, – если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего.

Ты задумался.

– Ну, что ж делать! – сказал ты со вздохом. – Ну, царский так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же, – сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно, – ведь можно же в царский день показывать цифры?

– Нет, нельзя, – поспешно сказала бабушка. – Придет полицейский и арестует... И не приставай к дяде.

– Ну, это-то уж лишнее, – ответил я бабушке. – А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером – покажу.

– Нет, ты сейчас покажи!

– Сейчас не хочу. Сказал, – завтра.

– Ну, во-от, – протянул ты. – Теперь говоришь – завтра, а потом скажешь – еще завтра. Нет, покажи сейчас!

Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех – лишаю тебя счастья, радости... Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей.

И я твердо отрезал:

– Завтра. Раз сказано – завтра, значит, так и надо сделать.

– Ну, хорошо же, дядька! – пригрозил ты дерзко и весело. – Помни ты это себе!

И стал поспешно одеваться.

И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой: «Отче наш, иже еси на небеси...» – и проглотил чашку молока, – вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики...

И весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами.

– Покажешь? – спрашивал ты иногда. – Непременно покажешь?

– Завтра непременно покажу, – отвечал я.

– Ах, как хорошо! – вскрикивал ты. – Дай бог поскорее, поскорее завтра!

Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот, когда мы – бабушка, мама и я – сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.

III

Ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.

– Перестань, Женя, – сказала мама.

В ответ на это ты – трах ногами в пол!

– Перестань же, деточка, когда мама просит, – сказала бабушка.

Но бабушки-то ты уж и совсем не боишься. Трах ногами в пол!

– Да перестань, – сказал я, досадливо морщась и пытаюсь продолжать разговор.

– Сам перестань! – звонко крикнул ты мне в ответ, с дерзким блеском в глазах и, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт.

Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя.

Но вот тут-то и начинается история.

Я, говоря, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе.

И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного.

Но и этим дело не кончилось.

Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе, – крикнул таким звонким криком беспричинной, божественной радости, что сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула.

– Перестань! – рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло.

Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса!

– А! – звонко и растерянно крикнул ты еще раз.

И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками.

А я – я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.

Вот тебе и цифры!

IV

От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер... Затем набрал в легкие воздуха еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...

Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться, – вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям – крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.

– О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!

– Небось не умрешь, – холодно сказал я. – Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.

Но ты не смолкал.

Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажег папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.

– Ужасно испорченный ребенок! – сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. – Ужасно избалован!

– Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! – вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу – к бабушке.

И бабушка едва сидела на месте.

Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.

Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.

Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал!

Было невмозготу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди?

Наконец ты затих...

V

– И мы тотчас помирились? – спрашиваешь ты.

Нет, я таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни.

Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками – пустыми коробочками от спичек, – расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном порядке.

Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!

Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы... Где это мой портсигар?... И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:

– Теперь я никогда больше не буду любить тебя.

Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:

– И никогда ничего не куплю тебе.

– Пожалуйста! – небрежно ответил я, пожимая плечом. – Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.

– Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! – крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.

– А вот это уж и совсем нехорошо! – ответил я. – Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.

Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно... по делу... Затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.

– А то дядя рассердится и уедет в Москву, – говорила бабушка грустным тоном. – И никогда больше не приедет к нам.

– И пускай не приедет! – отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.

– Ну, я умру, – говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.

– И умирай, – отвечал ты сумрачным шепотом.

– Хорош! – сказал я, снова чувствуя приступ раздражения. – Хорош! – повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.

И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она – вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:

– Вот так мальчик!

– Да не обращай на него внимания, – сказала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли. – Охота тебе разговаривать с такой злючкой!

И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.

VI

В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.

Но тут послышался шепот бабушки.

– Бесстыдник, бесстыдник! – зашептала она укоризненно. – Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы...

Я громко прервал:

– Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.

Но бабушка знала, что делает.

– Как же не в гостинцах? – ответила она. – Не дорог гостинец, а дорога память.

И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца:

– А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал – туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги, впрочем, – прибавила она, – делай, как знаешь. Сиди тут один в темноте.

И вышла из детской.

Кончено, самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден.

Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.

С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что, чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?

Счастье, счастье!

Ты открыл утром глаза, переполненный жаждою счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!

Но жизнь ответила:

– Потерпи.

– Ну пожалуйста! – воскликнул ты страстно.

– Замолчи, иначе ничего не получишь!

– Ну погоди же! – крикнул ты злобно. И на время смолк.

Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды... Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.

Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни... Смирись, смирись!

И ты смирился.

VII

Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что ты сказал мне?

– Дядечка! – сказал ты мне, обессиленный борьбой за счастье и все еще алкая его. – Дядечка, прости меня. И дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня.

Но жизнь обидчива.

Она сделала притворно печальное лицо.

– Цифры! Я понимаю, что это счастье... Но ты не любишь дядю, огорчаешь его...

– Да нет, неправда, – люблю, очень люблю! – горячо воскликнул ты.

И жизнь наконец смиростивилась.

– Ну уж бог с тобою! Неси сюда к столу стул, давай карандаши, бумагу...

И какой радостью засияли твои глаза!

Как хлопотал ты! Как боялся рассердить меня, каким покорным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть! И как жадно ловил ты каждое мое слово!

Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки!

Теперь уже и я наслаждался твоею радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут, – совсем как маленькие птички.

– Один... Два... Пять... – говорил ты, с трудом водя по бумаге.

– Да нет, не так. Один, два, три, четыре.

– Сейчас, сейчас, – говорил ты поспешно. – Я сначала: один, два...

И смущенно глядел на меня.

– Ну, три...

– Да, да, три! – подхватывал ты радостно. – Я знаю. И выводил три, как большую прописную букву Е.

1906

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)